Улыбка волчицы

Автор:
Надежда Осипова

Улыбка волчицы

Надежда Осипова

Сборник рассказов. Непридуманные истории: трагические, смешные, о любви, ненависти, одиночестве… и о том, что никогда не надо отчаиваться и сдаваться… Словом, жизнь – это все же прекрасная «штука»!

Улыбка волчицы

Надежда Осипова

© Надежда Осипова, 2017

ISBN 978-5-4483-6999-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«У каждого врача имеется собственное кладбище»

Весной Семён Бабанин заболел – стал чувствовать, что сердце становится чужим. Среди ночи оно вдруг взбрыкивало, как телёнок, а днём норовило на середине вдоха замереть вроде старого мерина. Ходить же по врачам Семён

противился. Свою мать он схоронил совсем молодой, в больнице на глазах у врачей она и померла от почечной болезни – диагноз уже патологоанатом поставил. После её смерти стал Семён Бабанин к докторам относиться без уважения и с немалым подозрением.

Из лекарств Семён признавал только мазь от чесотки. И всегда почтительно помнил, как ещё в четвёртом классе мать быстро вылечила его, раздев донага, с горем пополам насильно вымазав вонючей мазью. Чесоткой болеть ему больше не доводилось, но силу чудодейственной мази Семён крепко запомнил и держал её у себя в доме постоянно. Войдя в возраст, когда прижимали болячки, смазывал беспокойное место чесоточной мазью. От такой процедуры организм вздрагивал, болезнь сразу проходила.

По причине отрицания докторов и на сей раз в поликлинику он особо не торопился, старался без лекарств перемогаться. Жена Валентина, кое-как притерпевшись за долгую совместную жизнь к противоестественному характеру мужа, лишний раз по пустякам его не тревожила. Теперь же, учуяв неладное с мужниным здоровьем, до того раздухарилась, что каждый день поедом ела, гнала в больницу.

– Ступай, старый чёрт, обследуйся… лечиться тебе таблетками и уколами надо… загнёшься ведь как пить дать с мазью своей чесотошной, – ругалась Валентина почитай по всему дню. Тронутый жениным вниманием, Семён месяца через три позволил уговорить себя.

Участковый врач, Герберт Арнольдович, известный на весь район философскими раздумьями и ненасытной любовью к дорогому коньяку, на жалобы Семёна только руками развёл:

– А что же вы, батенька, желать изволили, шестой десяток разменяли… Ваша кардиограмма – согласно возраста…

Семёна от таких речей начало меленько потряхивать:

– Моей левой ноге пятьдесят два года, болит с детства. Правая нога тоже всю жизнь со мной прожила, а ведь не побеспокоила ни разу, хотя и ей вроде за пятьдесят?!

Семён покраснел, не зная, что бы такое ещё сказать веское, но ничего дельного на ум ему не подоспело. Он в сердцах вскочил со стула и резвым шагом вымахнул из кабинета, вдарив кулаком по двери.

– Доктора называются, полполиклиники их перемёрло, себя вылечить не могут! Возраст ему мой помеха… Да я от работы, которая с мальства без передыху, надсадился. А Герберт этот пожизненно в докторах, тяжельше карандаша в руках ничего не держал, вот и не разбирается в болезнях, – бурчал Семён в автобусе всю дорогу. Но ближе к дому чуток гонора сбавил, попритих – силы оставил на объяснение с Валентиной. Неловко всё же было в глаза ей смотреть, переживает за него человек, а тут такая ерунда приключилась… Не сдержался опять…

Волновался напрасно. Валентина будто именно такого результата и ждала от его лечебной прогулки.

– Ладно, Сёма, уймись, разошёлся. Ничего, не всяк помирает, кто хворает. Ежели не хочешь у местных дурачков лечиться, неволить не буду. Но завтра до поликлиники, уж будь добр, прогуляйся за направлением в край – к умным врачам поедешь обследоваться, – только это и промолвила.

Семён хотел возразить, но споткнувшись о жёлтые огоньки в жениных глазах, сразу примолк. Он похожие огоньки у неё видел, когда соседскую Нюрку, которая страшней войны германской, за сараем спьяну приобнял. Хоть и было это лет двадцать с гаком назад, и спиртного принял он тогда без меры, если на Нюрку польстился, только очень хорошо запомнил, в каком гневе его жёнушка обретаться может. И всеобщее мнение, что у него жена благоразумная, когда синяки от сковородника на морде прошли, опроверг в собственных размышлениях начисто, но руки сразу перестал к чужим бабам тянуть.

Поликлиника назавтра уже не показалась Семёну такой страшной, как накануне. Осмотрелся – люди кругом, снуют туда-сюда, тоже припёрлись спозаранку. И Герберт Арнольдович кочевряжиться не стал – жизни учить, направление молчком нацарапал, только попервоначалу передёрнулся при виде вчерашнего пациента, как, бывало, Семёнов организм вздрагивал от чесоточной мази. Философствовал он спьяну вчастуху, но чересчур людей старался не дразнить. И Семёну под конец визита с ехидненькой улыбочкой даже счастливого пути в краевую больницу пожелал.

Поездка в край не задалась с самого начала. Семён не выспался, проворочался всю ночь. Шутка сказать, второй раз за всю жизнь родину покидает. По доброй воле из деревни его на мировой простор никогда не тянуло. Только и прогулялся разок на три года до Германии за счёт министерства обороны, но это не считается, потому что ездил он тогда молодым и по военкоматовской повестке. Теперь же отрываться от родного дома Семёну совсем не хотелось. Не то, чтобы боялся, а просто душа противилась, да и смысла в предстоящей поездке не находил. В хозяйстве работы невпроворот, уже почти осень на дворе, а он по врачам прохлаждаться начнёт. Но перечить Валентине не стал, посчитал, что мир в семье ему важнее. Взял анализы и направление, сунул в котомку хлеба, помидор и сала, паспорт и деньги во внутренний карман пиджака положил, – вот и все сборы. Когда шёл к воротам, разглядел в дождевой лужице брошенные внуком Васькой пассатижи с красными ручками, хотел отнести их на место в пристройку, но Валентина возвращаться не позволила, так и поехал с тяжёлыми мыслями.

В автобусе место Семёну досталось у окна за тёмно-синей занавеской. Строго усмирив в себе волнение, сперва стал всматриваться в мелькавшие вдоль дороги километровые столбы. Когда полегчало, взгляд его сам по себе переметнулся от дороги на пшеничные поля. Но лучше бы ему их совсем не видеть – настолько всё заросло. Колосья пшеницы в сурепке было не углядеть, поле полыхало жёлтым огнём – много ярче, чем в гневных глазах Валентины. Даже сердце от стыда защемило, будто он лично перед этим необработанным полем тоже чем-то сильно виноват… Запущенные поля сменились заброшенными домами в сгубленной людьми деревеньке:

– Прости Господи, ну как после войны, будто Мамай вместе с Гитлером здесь орудовали, – содрогнулся от увиденного разора Семён. – Даже суслики с голодухи все разбежались… На такие страсти насмотришься, и до больницы от переживаний не доберёшься… Ещё хуже, чем по телевизору. Только в деревне от худых новостей можно в своём дворе за работой спрятаться, а тут и деваться некуда…

Больше в окно он себе не разрешил смотреть – закрыл глаза, сделав вид, что спит, – впрочем, как и остальные пассажиры. В городе Семён вышел около больничной трёхэтажной гостиницы, а спящий автобус покатил до автовокзала.

Невезение, похоже, вышло на остановке вслед за Семёном, потому что свободных мест в гостинице не оказалось. Он не стал отчаиваться, решил одну

ночь бесплатно перекантоваться в вестибюле. Пока обедал на вестибюльном диване помидорами с салом, каким-то чудом освободилась койка в двухместном «люксе». Своему глухонемому соседу Семён сначала даже обрадовался – если глухой, да ещё немой, то и приставать с разговорами не будет. Выданное полотенце в аккурат посерединке пропорционально зияло двумя дырками, подушка напоминала вчерашний тощий оладышек, а гостиничное одеяло до того износилось от времени, что имело свойство немецкого бутерброда – сквозь него, если посмотреть на оконный свет, было хорошо видно дорогу.

К вечеру Семёну от солёного домашнего сала страшно захотелось пить. Поскольку вода в коридорном туалете текла ржавая, он спустился на первый этаж к дежурному гостиницы, который оформлял его проживание. Вместо мужика уже дежурила нахальная толстая тётка. Она с радостью разъяснила Семёну, что кипятка ему не даст, потому что не обязана услаждать постояльцев «чаями». Гонимый усиливающейся жаждой, Семён узрел через дорогу забегаловку, которая называлась закусочной. Продавщица у стойки оказалась вежливой, но «осчастливить» Семёна стаканом чая наотрез отказалась:

– Мы уже закрываемся. Покупайте готовую продукцию…

На витрине Семён, кроме пакетов не то с молоком, не то с кефиром, как ни вглядывался, ничего подходящего не обнаружил.

– Ладно. Продайте мне вон этот ваш… «Снежок»…

Залив жажду содержимым из мятого пакета, Семён отправился в обратный путь. В животе после выпитого «Снежка» угрюмо забурчало от этажа к этажу всё громче и громче, а свой коридор Семён уже преодолевал проворным шагом прямиком к туалету.

Вернувшись в номер, Семён повалился на постель. Глухонемой сосед долго его разглядывал, низко нагнувшись над кроватью, а через несколько минут, покопавшись в чемоданчике, понимающе вручил на тонкой длинной ниточке пакетик чёрного чая «Принцесса Нури». Поскольку прихватить с собой в дорогу спасительную чесоточную мазь Семён второпях не додумался, то теперь смиренно запихал в рот пакетик с чаем и стал его посасывать, мысленно представляя, что это лекарственный леденец, родной брат чудодейственной мази. В засыпающем мозгу успела проскользнуть слабенькая мысль: «Странно

как… Ехал в край сердце лечить, которое почему-то перестало болеть, зато сподобило животом маяться… Может, пока совсем не скрючило, оглобли назад домой надо разворачивать?..»

В беспокойных снах Семён всю ночь пытался выскрести из лужи и отнести на стеллаж в пристройку пассатижи с красными ручками. Начинал снова и снова, но всегда безуспешно. Разбудил его страшный грохот. Глухонемой сосед, стоя во весь рост на кровати, комнатными тапочками с громким мычанием гулко хлопал по стене, стараясь попасть в муху. Контуженное насекомое металось со страха под потолком, вместо того, чтобы благополучно затаиться в темноте под кроватью.

– Что я здесь делаю? – спросонья удивился Семён. Изо рта у него торчала длинная нитка, а остатки расползшегося чайного пакетика противно ёрзали между языком и зубами. Живот не болел. Вообще больше нигде ничего не болело. До слёзных судорог захотелось домой. В деревне сейчас тихо. Люди только начинают пробуждаться. Скоро Валентина пойдёт доить корову. Пассатижи в грязи во дворе до сих пор валяются. До его приезда на место в пристройку их никто не положит. Что и говорить, дом без хозяина – сирота. Расчувствовавшись, Семён начал быстро заправлять постель, чтобы без промедления отправиться до автовокзала. Но остановил себя, представив грозный взгляд Валентины. А тут и мыслишка спасительная в мозгу замаячила: сначала он для вида сходит к врачу в поликлинику, и уж только потом, к вечеру, двинется до дома. За ночь и доедет. По правде говоря, и денег, впустую на дорогу потраченных, стало как-то сразу жаль. Коли такими деньжищами Бабанины в экономический кризис разбрасываться начнут, то семье скоро конец придёт. На молодых и без того надёжи нет, да если и он, хозяин, начнёт куролесить… Род Бабаниных переведётся, сгинет бесславно, как рой мух в осеннюю пору, на его детях и внуках эдак и закончится… Семёну стало совсем стыдно, он собрался и пошёл в поликлинику.

К сердечному доктору запись закончилась, как понял Семён, ещё на прошлой неделе, но в объявлении на окошке регистратуры чёрным по белому было написано, что за хорошие деньги к кардиологу можно хоть сейчас попасть, причём – без очереди. Талон же к врачу-терапевту ему, как иногороднему, всё же выдали – дополнительный.

– После всех зайдёте, – пристыдила его медсестра, когда Семён, утомлённый трёхчасовым ожиданием, хотел прорваться на приём к своему терапевту.

– Вот она, городская справедливость: вперёд всех пришёл в поликлинику, а к врачу последним попаду, – слегка возмутился Семён Бабанин, но остался сидеть перед закрытой дверью, потому что терпение, чувствовал, в запасе ещё имелось, да и торопиться особо тоже было некуда. После вчерашнего «Снежка» на еду его не тянуло, а до ночного автобуса времени оставалось хоть отбавляй.

Народ у кабинета скапливался всякий разный. Одни сидели со скучными лицами – больные. Другие развлекались созерцанием стен и деталей чужой одежды – любопытные, определил Семён. Некоторые умничали. Одна дородная дама в глубоком возрасте величественно изрекла:

– У каждого врача имеется собственное кладбище.

Сказала и замолчала. Как в рот воды набрала. Сидит и молчит. Смотрит очень внимательно на дверь кабинета. Семёна передёрнуло от её слов, как от судебного приговора и чесоточной мази, вместе взятых. И другие люди тоже враз потускнели. Медленно поднимались и постепенно уходили, будто кто-то при них неприлично испортил воздух. Семёну уходить пока было некуда, он лишь пересел от престарелой дамы подальше в угол, сурово запретив себе не только слушать, но даже смотреть на неё. И стал пытаться думать о добрых и важных вещах – о доме и семье. Но ничего хорошего на ум не приходило. Мысли в голову лезли глупые, если не сказать – страшные, будто кто-то очень злой нашёптывал их ему:

– Вот зачем ты, Семён, приволокся сюда? Жену послушал… А собственный ум пропил давно и окончательно? Ведь не хотел ехать… Кто, спрашивается, у тебя вообще в доме хозяин? Ну ради чего ты сюда припёрся? Может, деньжонки лишние завелись, девать их некуда стало? Или прогуляться от скуки решил, городскую поликлинику посмотреть? Зато теперь знаешь, как здесь больных людей принимают – в час по чайной ложке, и то не всех… Рецепт волшебный захотел от краевого доктора получить, чтобы таблеточку выпить и сразу здоровеньким стать? Ага. А сам-то хоть разок слышал, чтобы кто-то после поездки в краевую поликлинику выздоровел? Нет. Как помирали, так и помирают. Не подумал серьёзно, что смерть у человека не за горами, а за плечами стоит, зачем собой понапрасну рисковать, ведь и ты сам, вконец изработанный, вчера на чужбине мог очень даже легко окочуриться… и кто в таком случае все пять кредитов твоего сына Максима выплачивать бы стал? Забыл стародавнюю истину, что горе и нужда в семью чаще всего через ошибки

детей приходят? Вот ведь обрёл у тебя Максим, сынок дорогой, – «всё и сразу»! Ну и горбаться теперь за родного сына на коммерческие банки, уважаемый Семён Андреевич Бабанин, до гробовой доски! А ежели платить бандитские проценты за кредиты не станешь, то неслух Васька, любимец твой, вместе с глупыми родителями по миру тогда уж точно пойдёт! Потому что одна Валентина с такой оравой ни за что не справится. Там ведь дома-то ещё дочь Аннушка с запойным зятем и внучкой Машкой бедует… Да от забот, как твои, у любого человека голова кругом пойдёт и сердце надорвётся, никакого здоровья не хватит… Проморгал ты, Семён, благо детей своих… И сейчас тебе не по поликлиникам бы шастать надо, а спасать свою семью, пока не поздно, – спасать…

От тяжёлых мыслей Семён опустил голову, он не слыхал, как медсестра в людском гомоне, словно спохватившись, призывала на пороге заветного кабинета:

– Иногородние! Проходите на приём, иногородние!

Семён поднялся и решительно зашагал к выходу: «Что время терять, когда и так ясно, что хватит по-дурацки жить. Приеду домой, трактор и тёлку продам, кредиты Максимкины все перекрою. Аннушке тоже нужно помочь, пора им с мужем в свой дом от свекрови перебираться. Валентине рот дратвой зашью, коли не уймётся с идеями больничными. А Ваську носом в пассатижи натыкаю, которые в грязи во дворе валяются, чтобы знал, как добро семейное беречь. И спать тогда спокойно начну… без сердечной боли…»

Семён не расслышал, как старый больничный стул, распрямляя сутулую корявую спину, одобрительно заскрипел ему вдогонку:

– Правильно решил ты, мужик, правильно… Везёт тому, кто сам везёт… Ангела-хранителя тебе в дальнюю дорогу…

Непутевая весна

Пасха в прошлом году была ранней, по народным приметам и весна тоже должна была подоспеть рано. Так оно и вышло, чему я шибко обрадовалась – мне нужно было попасть к июню в Москву – я заканчивала Литературный институт. Но, как говорится, учёба учёбой, а огород посадить я должна была уже перед отъездом: зима придёт и спросит, что весной и летом делала.

Ну что ж, деваться некуда, и землю копать в огороде под картошку я начала в самом начале мая – и это при нашем северном-то климате. Соседи с разинутыми ртами с заборов свешивались, смотрели, что я делаю, а потом между собой судачили – не рехнулась ли я после своего зимнего одиночества. Снег пробрасывает, дождь холодный изредка меня поливает, а я в грязи лопатой ворочаю, докуда воткнуть её, сердешную, смогу – земля ещё не везде оттаяла, снег недели две как сошёл. И выхода нет никакого: если посажу огород, то что-нибудь да уродится, а если не стану, так и совсем ждать нечего будет, погибель тогда уж точно придёт.

Вожусь себе в огороде, жилы рву, но с самого начала понимаю, что всё вокруг меня совсем не так, как обычно: живности привычной огородной рядом никакой не видать, ни комаров, ни лягушек, даже скворцы не залетали ко мне за даровой кормёжкой, видать, холодно ещё совсем было. Но долго раздумывать, да осматриваться не могла, чуть остановишься, и сразу начинало в грязь засасывать, еле ноги выдёргивала. Уже через день-два всё тело от такой работы стало похожим на столб телеграфный, деревенело и гудело к ночи. Но я не сдавалась, хотя с утра и постанывать приходилось. К обеду, когда разработаюсь, легчало и на душе теплело, а вечером домой уже как на ходулях возвращалась. В перерывах учила эстетику, мне по ней надо было государственный экзамен сдавать. Литературу хорошо знала, стилистику и философию тоже, а на эстетике мозги мои тормозили. Как год назад, тоже весной, господин Дубовицкий меня с лекции за сопли выпер, так сразу и начались мои эстетические проблемы. Мне даже сны эстетического содержания снились, к примеру, о дегуманизации искусства – что днём непосильным трудом выучить успевала, то ночью настырно в гости ко мне и приходило.

Так между огородом и эстетикой я и жила. Про нищету родимую забыла пару слов прибавить, но это дело привычное. Хотя всё же порой муторно бывало: воду перед моим домом прорвало на центральной магистрали, ну и принудили меня шантажом за ремонт водопровода заплатить, грозились воду отрезать. И с деньгами тогда отношения тоже совсем осложнились, они разлетались

от меня, как соколы, в разные стороны. Нужда же только множилась, и деньги я всеми силами удержать старалась, под замок запирала – копила с пенсии на проезд в Москву, шутка сказать, за все шесть лет учёбы стоимость билета в один конец равнялась каким-то чудным и непостижимым образом размеру моей пенсии. Вот я четыре пенсии в год и тратила только на билеты, а про остальные надобности и вспоминать даже неохота. Но желающих содрать с меня денежку очередь не оскудевала, как, к примеру, в этом случае с водой. Я в войну вступать не стала, деньги за ремонт водопровода отдала, пенсию почти всю целиком втюрила, а военные действия перенесла на осень. Не то чтобы я конфликтов опасалась, это далеко не так, мне повоевать порой и самой по нраву – кровь в организме разогнать за счёт стрессов и прочих сильных ощущений, но в этом случае я подготовиться толком не смогла бы к экзаменам, так что решила потерпеть, хоть и сподобили меня жилищнокоммунальные господа на неминучий голод и прочие неприятности.

К середине мая на моей усадьбе стали происходить совсем странные дела. За моей спиной, за огородом, между стайкой и уличным туалетом коты пришлые начали каждый день собираться. Разных мастей откуда-то прибывали, как на митинг, прости Господи, в советское время. Они степенно и важно рассаживались на дощатом выступе сарая, некоторые на забор запрыгивали, другие места себе на крыше туалета облюбовывали, лестница возле стены сарая тоже не пустовала, до самого верха на ней коты громоздились. Голов по сорок их к вечеру накапливалось. Сидели чинно, безмолвно, только иногда лапами от холода перебирали. Я такой страсти не видывала никогда, меня иногда даже жуть до самых костей пробирала. Но внешне страху старалась не выказывать, да и некогда было, моя посадочная работа продвигалась по-прежнему медленно, а когда надеяться не на кого, то и сам, под стать обстоятельствам, таким же оголтелым стаёшь.

Ещё, правды ради, надо добавить, что к животному миру я нахожусь ближе, чем к людям. Птицы и прочая живность меня тоже своей считают. Летом в огороде я часто с лягушками разговариваю, с ними очень интересно общаться, они внимательные, любопытные и доброжелательные, я приметила, что у лягушек плохого настроения никогда не бывает. Прошедшей зимой на меня часто опускались стаи голубей. Первый раз я перетрухнула, когда днём во тьме очутилась, голубей много было, они свет мне разом застили. На спину стали садиться, на голову, за плечи и руки лапами и крыльями цеплялись, кругом в воздухе висели. Но я как-то сразу поняла, что опасаться мне нечего – голодные голуби так внимание к себе требуют, и они откуда-то доподлинно знают, что я их накормлю. И нет на свете прекраснее занятия, чем кормить голубей. Они

доверчивые, как малые дети, с рук пшено клюют, и думаю, что нет такого человека, у кого в душе ответное тёплое чувство не ворохнулось бы. В это время нежность в сердце рождается, а всё другое, неприятное, отодвигается, либо совсем исчезает, и жизнь милее становится.

Того же самого, однако, не могу сказать про кошек, люди предпочитают даже в тяжёлые минуты с одной кошачьей особью дело иметь, кошачьи сборища их настораживают. Я познала это на собственном опыте – против сходок кошачьих соседи роптать стали, они удумали, что это якобы моя гулящая кошка котов к себе приманивает. И теперь уже целые делегации людей приходили ко мне в дом и требовали, чтобы я всех кошек разогнала, иначе, как утверждали соседи, придёт скорый конец их будущему всеобщему урожаю – кошачьи женихи, дескать, все огороды вокруг вытопчут. И мне волей-неволей приходилось отрываться от работы и объяснять соседям, что своей домашней кошки у меня нет и в помине не было, что гонять я никого не собираюсь, других, более важных, дел скопилось невпроворот.

От тяжелой потной работы и от ежедневных нервных разборок я стала сильно уставать, и мне порой становилось даже не до эстетики. Не знаю, смогла ли бы я досадить огород и достойно подготовиться к экзаменам, если бы однажды утром всё разом не прояснилось. Перед рассветом меня разбудил рёв. Я не поленилась, встала и пошла с фонариком во двор. С некоторым содроганием прошла мимо кошек к туалету, рёв доносился именно из него, открыла дверь и посветила внутрь. С самого низа, из дыры, мне показалось, во много крат сильнее света моего фонарика, горели зелёные глаза. Там сидел кот. Среднего возраста, странной бурой масти, с обмёрзшими ушками, головастый, очень худой и порядком одичалый. Попасть в туалет он мог полтора месяца назад, когда делали напротив дома воду, и рабочие посещали с моего разрешения это строение. Пробраться туда в другое время кот не мог, ни снизу, ни сверху даже щелки не было, а жилистый мосластый кот всё-таки имел внушительные размеры. У меня все удобства находятся в доме, и я предпочитаю в моём преклонном возрасте ходить только в тёплые места в случаях житейских надобностей, так что кота в облюбованном им убежище никто не тревожил. В твёрдой уверенности, что незваный квартирант сразу же покинет туалет, если оставлю дверь открытой, я отправилась мимо молчаливых кошек домой досыпать.

Но я ошиблась, кот не уходил. Стоумовая соседка, бдительно созерцавшая все происходящие на моей территории процессы, опять начала приставать ко мне:

– Михаловна, это он ведь к тебе жить просится… потому и не уходит… котишка бездомный, взяла бы его к себе, что ли… ради веселья…

Меня аж затрясло. Это же надо до такого додуматься: дикого кота, который в дерьме просидел полтора месяца, в дом к себе взять… И какое веселье он может мне принести, спрашивается. Сама-то соседка не особо развеселилась от своей собаки: по всему дню учит старого кобеля, который уже по второму разу собачью жизнь проживает, как лаять надо. Конечно, я признаю, что одиночество – вещь страшная, и воздух от тишины, бывало, звенит, это имеется, спору нет. Но домой… Да если бы я всех желающих, кто интерес ко мне проявлял, к себе в дом собирала по доброте сердешной, там повернуться от перенаселения уже нельзя было бы. Ну, удружила, соседушка милая, нечего сказать… Нас с ней мир с самого начала не брал, как она рядом поселилась, хоть и человек работящий, как трактор, прости Господи, и вдова тоже, и два высших образования имеет, и лет ей уже за семьдесят… вот всю весну ко мне приставала, сообщала каждый день, как лужа около её дома ночами замерзает, льдом покрывается, не тает: дескать, зря стараешься, – огород посадишь, а всё равно всё вымерзнет, потому что слишком рано копать начала… Я бросила ведро с семенной картошкой на грядку, взяла лопату и пошла кота прогонять. Он рёв поднял, уходить не хочет, спину коромыслом выгнул, того и гляди, на меня бросится. Я сразу увидела, что мне его не победить, и лопата тут совсем не поможет, и уговоры никакие не подействуют, коли парень решил за мой туалет насмерть стоять.

Когда по тропинке мимо кошек проходила, в сердцах само собой с языка сорвалось:

– Передайте своему товарищу… пусть уходит, мне его кормить нечем, я для него капиталов не припасла, себя прокормить не могу… и сами уходите, не доводите до греха… нечего меня перед всей округой позорить, не заслужила я…

А сама досаживать картошку вернулась. Но не то понервничала, не то уж вконец надсадилась, а только в груди у меня болеть сильно стало. Лопату с великим трудом в землю ещё могла воткнуть, а наверх её вывернуть уже сил не хватало, и где солнечное сплетение, там болью пронзало. А тут еще кукушка привязалась, рослая, головка седая, сама бесстыжая, просто под лопату сдуру бросается. Я ругать её стала самыми страшными словами, ненавижу кукушек, они перед смертью моего мужа на крыше дома с месяц куковали, беду кликали… Пока ругалась, то и не заметила, как досадила, вроде и болеть в груди даже

меньше стало…

Утро встретило меня радостной вестью: ушли коты с моего двора и придурка бурого с собой прихватили. Я на радостях как весенний ветерок по огороду летала, последнюю мелочь досаживала. Морковку и петрушку посеяла спокойно, они холодов не боятся, а кабачки поглубже в грязь воткнула и перекрестила для верности, авось выживут. А вот над огурчишками всплакнула, жалко мне их стало, как представила, что им ночами пережить придётся по весне нашей северной. Когда парник укрывным материалом оббивала, уже улыбалась, семена огурцов мне в магазине продали со знаковым названием «Подмосковные вечера», даже самой интересно стало, что из этого опыта получится, когда московские семена в сибирские условия насильно втискивают. Ну а лук уже невозмутимо садила, чего над ним душу рвать, всё равно весь в стрелку от холода уйдёт, и переживать нечего. Базилик и салаты разные я уже по стародавней привычке в грядку воткнула, пусть тоже сибирского весеннего морозца понюхают, ежели силёнок хватит через грязь на свет белый выкарабкаться. Когда отсадилась, снег пошёл, но реденький, слабосильный. С домашними делами скоренько управилась и в Москву поехала оставшиеся подвиги совершать.

Студенткой я все годы учёбы была бесхвостой, дисциплинированной. Как училась, так институт и закончила, государственные экзамены все на пятёрки сдала. Среди экзаменационной суматохи краем уха слышала, что в наших сибирских краях страшная засуха образовалась, но особо тогда не огорчилась, потому что у моих огородных посадок шансов выжить с самого начала никаких не имелось. И когда домой с дипломом возвращалась, из окна вагона, а потом и автобуса, видела, что у людей не везде даже и картошка взошла – огородные проплешины всю дорогу меня печалили мыслями: вот проездилась, вроде и победила, а зимой неминуемо и расчёт придёт – голодать, видно, мне опять придётся. Домой приехала глубокой ночью, усталая, всё же самый трудный учебный рубеж преодолела, да и долгая дорога сказывалась – почти четверо суток добиралась, едва помывшись, кулём на постель сразу свалилась. А утром обомлела, как на улицу вышла: лук в огороде стоял как камыш, картошка красовалась мощными рядами, огурцы из-под укрывного материала выпирали, кабачки плетями на забор примерялись забраться, и морковка своими весёлыми косичками уже начала поигрывать.

И остальные дела дальше тоже хорошо пошли, после той весны я больше ни разу не голодала. Жилищнокоммунальные господа поздней осенью деньги мне

возвратили, домой привезли, в акте передачи было записано: «вернуть как ошибочно взятые», но извиняться передо мной они не нашли нужным, наверное, посчитали, что я и своим родным деньгам должна была без ума обрадоваться. Что с них взять, бессовестных, привыкли бесчинствовать…

А зимой в самые лютые пятидесятиградусные морозы на крыльце пропечатывались сквозь изморозь на полу кошачьи следы, но ничем другим кот себя не проявлял. Потом я заболела, слегла. И где-то примерно на восьмой-девятый день болезни, когда в доме закончился запас дров, а я лежала в холодной кухне на диване, в болезненной дремоте понимая, что сил подняться у меня уже нет, услышала стук. Я не могла разобрать, что за штуковина барабанит по стеклу. Рывком вскочила, сама толком не осознавая, как оторвалось от дивана моё больное тело, прильнула к окну и увидела, как бурый кот спускается вниз от окна со снежного наста… И тут до меня дошло, что в суете хозяйственных дел я лишила себя друга… Настоящего друга…

Раз, два, три, четыре…

Второй курс Литературного института давался особенно тяжело. Но даже саму мысль, что не справляюсь, я упорно старалась не замечать. С повседневными катастрофками можно было как-то совладать, кроме затяжного глубокого безденежья. Ещё меня беспокоило полное отсутствие учебников по латыни. И я совсем не представляла, как буду сдавать зачёт грозной Гвоздевой по древним цивилизациям. Интернета тоже не было. В ту зиму у меня много чего не было, например, дров. Топила печку книгами, одеждой и мебелью. Голодала, замерзала, словом, запросто могла сгинуть, но сдаться – никогда. Мой младший сын уже год учился в дневной аспирантуре, а старший только что поступил в очную адъюнктуру, и я была для них тогда как боевое знамя. Поэтому на сессию поехала, имея в кармане круглую месячную наличность на московское пропитание – ровнёхонько две сотни рублей.

Но ожидаемые осложнения начались куда раньше, – едва «пазик» отъехал от автовокзала. Кудлатому мужику не понравилась моя сумка в проходе, от злости он раздулся как сытый клещ. Терпеть не стала, грядущую стычку предварила сразу:

– Ещё раз пнёшь сумку, раскарябаю всё личико. Вместо поезда будет кутузка. Выбирай…

Мужик перестал сражаться с сумкой, но продолжал бурчать до половины дороги – возмутило словечко «личико». Похоже, ему сегодня всё не нравилось, как, впрочем, и мне тоже. Тревожила пересадка – через час надо было перепрыгнуть в другой «пазик», тот ходил очень редко, но уж точно мимо станции. Прямой автобус до железнодорожного вокзала верховное городское начальство из экономии отменило с полгода назад, и теперь пассажиры, чтобы не опоздать на поезд, бросались к попутному транспорту как жоркие весенние щуки на высмотренную добычу.

Переживала не зря – попутный «пазик» уже стоял на конечной остановке на всех парах – с открытой настежь дверью, нервно кашляя выхлопной трубой. Я везде была первой, и тут не задержалась, всех обогнала. Уже заняла переднее тёплое место, как увидела посреди дороги тощенького паренька, на котором глыбой повис центнеровый дед. Ладненькая бабёнка суетилась с деревенскими хохоряшками, узлами без счёта, перетаскивая их по направлению к нашему автобусу на утоптанной скользкой площадке. По несвязным движениям и перекошенному рту старика определила сразу – после инсульта… Мысль ещё не долетела до нужных извилин, а я уже неслась на подмогу со скоростью бульдожки, которой не терпится поймать жирного кота, на бегу слёзно попросив водителя немного обождать нас.

Перекинув дедову руку на правое плечо, почти взвалив его на себя, начала громко считать, чтобы сразу всей компанией попасть в ритм – шофёр предупредил, что ждать больше пяти минут не сможет.

– Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре…

Парнишка оказался на редкость смышлёным. На счёт «раз» он делал шаг вперёд. На счёте «два» я подцепляла под колено левой ногой дедово парализованное копыто, передвигала его с усилием, но довольно быстро. На «три» парнишка тянул окостенелую тушу больного вперёд на себя. Я подтягивалась уже на «четыре». Быстро попав в ритм, мы управились за девять-десять переходов. Употевшая бабёнка тяжело приходила в себя, у деда ручьём текли на воротник полупальто слюни, а парнишка, хоть и порядком замученный, сиял за троих весельем неуёмной молодости.

Отдышавшись, Люба, так звали женщину, рассказала, что живут они с сыном Алёшей в Омске, Две недели назад приехали забрать парализованного деда из дальней таёжной деревеньки к себе в город. Дедов большой дом бросили на произвол судьбы, родни там никого нет, да и от самой деревни осталось только четыре жилых двора, кто помер, а кто давно переехал в благополучные места. Едут на перекладных уже больше суток, устали вконец, но в Омске их будут встречать, вот только бы здесь им до вагона как-нибудь добраться… Я молчала. Не хотелось мне вспоминать, как сама сначала пятнадцать лет выдирала из тяжёлой болезни младшего сына, была ему не столько матерью, сколько другом, учительницей, медсестрой. А потом ещё десять с половиной лет протаскала на себе больного мужа, сначала после инсульта, потом с онкологией. Тогда и научилась жить на «раз, два, три, четыре». Постепенно притихла и Люба.

Но как я не отмахивалась от тяжёлых мыслей, воспоминания сами лезли в голову. Родом я с восточного Алтая – благодатных урожайных мест. В молодости по великой дурости переехала в маленький городок среди зон и военных частей – средний таёжный север. Обычных людей за последние тридцать лет встречала мало, в суровом климате они не селятся, жила среди святых, героев и гадов. Словом, родилась ласковой и нежной, а стала оголтелой под стать обстоятельствам, всегда готовой к безразмерному труду и безразмерной обороне. За столько горемычных лет всё же крепко задолжала людям, в лихой час всегда кто-нибудь да выручал, и Любку без всяких громких слов я не собиралась бросать посреди дороги.

Железнодорожная станция за раздумьями выскочила из-за домов неожиданно быстро. Довольно проворно выгрузили из автобуса узлы и узелки, но деда мы с Алёшей передвигали с превеликим трудом, каждый шаг давался с боем. Больной не капризничал, он даже не мычал, только его парализованная нога теперь не волочилась, дед умудрялся просто вгрызаться ею в мёрзлую землю, а сам поочерёдно отдыхал на наших спинах, в зависимости от того, кто наклонялся двигать его копыто. Мы с Алёшей оба еле дышали. Сам дед весил слегка за центнер, да ещё его полупальто, старинная «москвичка», прозванная в народе пылесборником, тянула на пудик с большим гаком.

Уже объявили посадку, а мы не преодолели ещё и половину оставшегося пути.

– Алёша, помоги мамке, видишь, тяжело ей. И дедушка пускай передохнёт на скамейке, успеем мы, не переживай, – отправила я парнишку к Любе

на помощь.

– Ты что творишь, гад? – ткнула я кулаком деда в бок, как только Алёша отошёл от нас. – Если не хочешь ехать, так зачем с места трогался? Подыхал бы один на своей заимке, а родню-то зачем гробить? По дому затосковал? Гнилушки пожалел, а кровь родную не жалко? Может, вон того бомжа на помощь позвать, посмотри, как ловко в урне роется, видать, дня три не жрамши… У меня две сотни есть, если ему заплачу, так он тебя в вагон по кускам затащит… а уж вшей натрясёт, днем и ночью чесаться без передыху будешь… Да ты на Любку-то, бессовестный, посмотри, разуй глаза, сейчас упадёт замертво, а барахло твоё не бросает. До чего же славная бабёночка! И внучок у тебя золотой. А ты, пердун старый, хряк раскормленный, ничего не ценишь, ни любовь их, ни…

Я вовремя увернулась, чуть не прилетело мне от деда за ласковые слова… Зато ситуацию прояснила полностью: болен, спору нет, но двигаться может очень даже хорошо.

– Ладно, давай поговорим по-доброму, – я резко сменила интонацию, стараясь не смотреть в дедову сторону – тот сидел красный, с выпученными глазами, и оскорблено сопел. – Ты думаешь, мне охота ехать? Нет, не шибко, но надо, ради будущих внуков стараюсь… Вон вахтовики у вагона гудят, на два-три месяца от семей отрываются, думаешь, им радостно сейчас? Ничего подобного! Но тоже надо как-то выживать, денежку зарабатывать. И ты себя не позорь, глава клана как-никак, Алёшка на тебя смотрит, с дедушки пример берёт. Ты ещё долго проживёшь, в тебе жизни навалом… и дочке с внуком шибко нужен… где советом, где пенсией поможешь… поверь уж…

Я замолчала. Дед уже не сопел, только брови к переносице мрачно свёл.

– Соберись, родимый, через минуту встаём, надо навёрстывать, – чуть прикасаясь, я погладила его по рукаву «москвички». – Давай, на раз, два, три, четыре… Опирайся смелее, я привычная, сдюжу…

До поезда мы доскакали совсем скоро. Дед развил такую прыть, что я едва успевала отсчитывать:

– Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре…

Когда Алёша увидел, как его больной дедушка танком к вагону прёт, то хохоряшки из рук выронил, а Любка от изумления сначала ахнула, а потом икать начала, видать, воздуха много заглотила…

Как только мы приблизились, вахтовики перестали гоготать, на нас уставились. Среди них я заприметила и своего знакомого по «пазику» – кудлатого мужика. Он стоял с гордым видом, наверное, реванш обдумывал.

– Люба, ступай, милая, деду надо лекарство готовить. Он у вас, конечно, герой, только, кажись, ухайдакался… А ты, Лёшенька, с вещами заканчивай, дедушку пора в вагон переправлять…

К проводнику подошёл милиционер с розовой папкой, они с улыбочками начали обсуждать какие-то знакомые темы, только вахтовикам такое соседство пришлось не по нутру, и они гурьбой собрались уходить, уже развернулись к лесенке.

– Ребята, а вы куда это направились? А больному человеку подняться в вагон кто помогать будет? Мне одной не справиться…

– Твой мужик, ты и поднимай, – мгновенно подал голос кудлатый.

– Да ты что, милок, совсем нюх потерял? Да я даже не знаю, как его зовут. Ну ладно, разошёлся… хватит ругаться. Помогай. Все мы под Богом ходим. Поспеши, еле держу уж…

Я передала больного кудлатому, с другой стороны его обхватил крепенький вахтовик, а сверху уже тянули руки их сотоварищи.

Подождала ещё с минуту, полюбовалась процессом, не каждый день такое увидишь – помогал даже милиционер – направлял дедову ногу снизу, когда она цеплялась за железную ступеньку. Обычно милиционеры предпочитают со стороны наблюдать, как другие работают, а этот какой-то ненормальный оказался…

Мой вагон угодил к самому паровозу. Усевшись на место, стала искать платочек, чтобы стереть с плеча дедовы слюни. И вдруг обнаружила, что потеряла

кожаные перчатки. Дорогие, итальянские, тонкой кожи, из прежней моей благополучной жизни, ещё не рваные… а на дворе ноябрь… Господи, да как же я в Москве-то месяц продержусь… руки надсаженные, мерзлявые…

Страшно стало. Сижу, горюю. За окном кричит кто-то благим матом. А я себя ругать начала без удержу:

– Дура ты, Надька, дура. Всё тебе не сидится на месте. Вон за окном кричат, посмотри, кто там, да беги сразу же, помогай. Всегда найдётся человек, кому помощь нужна. Ну что, Наденька, попка гладенька, поиграла в мать Терезу? Замерзай теперь, так тебе и надо! На свои двести рублей только китайские кривобокие верхонки в Москве купить сможешь!

А потом пораздумала и успокоилась. Мысли здравые появились. Жила же я как-то до сих пор, за пятьдесят лет перевалило, и ничего, справлялась. Наверное, и сейчас не пропаду, не замерзну. Авось обойдётся. Люди ведь кругом, чего бояться-то? Даже повеселела чуток. Выглянула в окно. А там по перрону Любка бегает. Подскочит к вагону, вверх прыгает, руками машет, а в руках – мои перчатки. И кричит:

– Эй! Эй! Эй!

Я хохотать начала. На улицу выскочила, перчатки у неё забрала, и неизвестно, кто рад больше был. То ли я, что перчатки нашлись, а то ли она, что отблагодарить добром меня смогла.

– Надя, ты на скамейке их забыла. Перчатки твои чужие люди нашли да проводнику передали, думали, что мы одна семья, вместе едем. А тебя насилу отыскала. Ушла втихаря, даже не попрощалась…

Любка поспешила до своего вагона, к деду с Алёшкой, рот нараспашку, счастливая… Минуты через четыре стронулся с места поезд. Я смотрела в окно и думала:

– Эх люди, люди… Люди добрые… Сколько лет живу среди вас… а всё удивляюсь доброте и любви вашей…

Через полтора года по велению какого-то другого верхнего начальства из экономических соображений перестал ходить и поезд. Жить стало ещё веселее.

Феденька

В остатние часы уходящего года, когда ночная темень уже сгустилась за окнами большого, некогда семейного дома, стало Татьяне в знобкой домашней пустоте как-то особенно неуютно. Возможно, дело было в том, что в одиночку с глазу на глаз с затянувшейся печалью Новый год она за всю свою жизнь никогда не отмечала, а, может быть, еще не научилась жить собственной жизнью после многолетнего служения семье. Так или иначе, но внезапно потянуло ее как-то уж очень сильно к людям, где есть смех, свет и обильное застолье.

Куда идти, думать ей особенно было не надо. В последнюю неделю очень настойчиво звала Татьяну к себе в гости ее давняя знакомая Зинаида Николаевна, названивала по телефону, плакалась на одиночество, умоляла Татьяну заглянуть к ней на «новогодний огонек», как когда-то в той, ушедшей благополучной жизни. Сначала Татьяна Зинины звонки посчитала обычным ее кокетством. Зинаида Николаевна, по мнению Татьяны, хоть и состояла в замах одного важного и большого начальника, всегда вела жизнь весьма свободную, в шумных компаниях доводилось выпивать ей частенько по поводу и без повода, на мужское невнимание она тоже никогда не жаловалась – постельных своих партнеров меняла чуть не ежемесячно. Муж ей был без надобности, сын учился где-то далеко, и из мужской постоянной домашней живности имела Зина у себя только изнеженного кота Бакса. Еще заведена ею была коллекция кактусов, занимавшая сплошь все подоконники, тумбочки и даже столы. Татьяна не виделась с Зинаидой Николаевной месяцев восемь, нежданно-негаданно свалившееся на Таню вдовство было тому основанием.

До наступления Нового года оставалось уже чуть меньше двух часов, поэтому Татьяна, споро созвонившись и наспех одевшись, заспешила в гости.
На освещенной улице, казалось, пахло весной, то там, то сям звенел смех.
Со стадиона, находившегося неподалеку, неслась залихватская музыка, и общее праздничное оживление к концу пути сообщилось и Татьяне, спустя всего лишь полчаса после выхода из дома она ощутила себя почти счастливой.

В доме у Зины что-то было не так, это Татьяна почувствовала еще на входе. Что именно было не так, она ясно не понимала, но какое-то неосознанное беспокойство мешало ей оставаться веселой в эти чудесные для всех людей часы. Оживленная Зина хлопотала у духовки на кухне, а Татьяна пыталась освоиться в легкой полутьме зала, освещенным лишь мигающими огнями искусственной елки. Ей постоянно отчетливо казалось, что из Зининой спальни за ней кто-то внимательно наблюдает, и женским своим инстинктом она ощущала, точнее, безошибочно чувствовала чей-то довольно нахальный мужской взгляд. В конце концов, это ей надоело.

– Зина, – позвала она хозяйку из кухни, – что за нелепые шутки, кто у тебя в спальне отсиживается, давай показывай, ты же знаешь, мне подобные твои забавы всегда не по душе были.

– Да нет там никого, – засмеялась в ответ Зинаида, потянувшись к едва заметному в полутьме выключателю, – сама вот погляди. Я как полгода назад заболела, а потом с работы уволилась и на пенсию оформилась, так после того ко мне уже в гости никто совсем заходить не стал. Кот и тот сбежал, кактусы даже все мои погибли. А мужиками в доме и не пахнет давно, все мои знакомые словно забыли меня, одна ты вот чего-то насмелилась зайти. Мне кажется иногда, что я уж и одичала слегка в своем одиночестве.

Татьяна взглянула с особым вниманием на Зину. Действительно, в сильном свете, солнечно вспыхнувшим после полутьмы, хозяйка дома выглядела совсем уж неважно, она явно похудела, а некогда ее холеная кожа имела зеленовато-землистый оттенок. В комнате, как сквозняком, потянуло жутью, да так явственно, что Татьяне стало даже немного зябко.

Женщины вошли в спальню. Здесь все было, как обычно. Только появился очень высокий, под самый потолок, сочно-зеленого цвета стройный фикус в великолепной кадушке, стоявший у самого изголовья изящно застеленной пуховым одеялом постели. Одним своим листом он касался подушки.

– Ты узнаешь его? – улыбнулась Зинаида. – Он стоял у меня на работе в коридоре у окна, может, помнишь, внизу у самой лестницы. Засыхал совсем, почти умирал, а я вот выходила его в домашних условиях. Любовь и нежная забота, видишь, Таня, всем нужна, особенно тем, кто уже погибает.

Татьяна ни слова не сказала в ответ. Она действительно вспомнила тот махонький убогий фикус в офисе Зины, заходила к ней на работу еще по весне как-то по делу, тогда он на самом деле выглядел совсем зачахнувшим. Он и запомнился-то ей пожухлыми, скукожившимися листьями да изогнутым стволом-позвоночником, подвязанным пожелтевшими бинтами к воткнутой в кадушку дощечке. Его увечный вид совсем не вязался с официальной обстановкой в кабинетах, поэтому и оказался бедолага в конечном счете у самого выхода почти что под лестницей. Но сейчас опознать его можно было только по этой иноземной цветистой кадушке.

– Ну, а дальше ты с ним что будешь делать? Потолок для него выпиливать? – пошутила неловко Татьяна и невольно отодвинулась от фикуса, ей отчетливо показалось, что статный гигант понял ее шутку, потому что листья его зашевелились будто от смеха.

– А тебе что за дело, как мы с моим мальчиком дальше жить будем? – ошеломленно услышала она в ответ.

Чтобы сгладить собственную неловкость и выказать симпатию хозяйке и ее любимцу – Новый год все-таки, Татьяна кончиками пальцев слегка коснулась жестковатой зелени фикусного листа, и тотчас пожалела об этом: она явно почувствовала его ответное движение.

Зина недовольно наблюдала поведение их обоих, и в ее взгляде вспыхнули потаенные, пока небольшие, но уже замеченные Татьяной зловещие огоньки. Так ведет себя сильно любящая, уже вдоволь пожившая на белом свете женщина, когда с объектом ее последней любви пытаются кокетничать другие особи женского пола.

Татьяне становилось все неуютнее, она ощущала себя частично навязчиво помешанной, особенно когда дело касалось несомненно мужского отношения к ней фикуса. До начала Нового года оставалось двадцать минут, а она вынуждена была оказаться в нелепейшей ситуации, да еще выяснять с хозяйкой отношения, но из-за чего?

– Зина, а давай мы сейчас твой фикус возьмем за длинные его уши, выволочем уж как-нибудь вдвоем на улицу, да под откос в овраг и сбросим. Мне кажется, что тебе с этими твоими селекционными опытами надо завязывать. У вас, я

чувствую, идет обоюдная мутация, у твоего фикуса четко прослеживается линия мужского поведения. А ты зеленеешь, точнее, почти вся уж зеленая стала. К Новому году мы с тобой, думаю, управимся, и ты жизнь наново начнешь, – неожиданно для себя самой предложила Татьяна.

Не дам, – взвизгнула хозяйка дома, заслонив собою молодого темно-зеленого своего дружка. – И не фикус он вовсе, не обзывай его так, дифенбахий он. А я зову его Феденькой. Домой к себе ступай, да командуй там!

Ощетинившийся фикус, вроде бы тоже обидевшись, злобно заколыхался всем своим остовом. Татьяну вновь охватила непонятная жуть. Взглянув снова на Зину, она от всей души пожалела стародавнюю свою приятельницу, зеленовато-землистый оттенок кожи лица которой явно указывал на нешуточную, возможно, болезнь. А непонятная, мистическая наполненность некогда уютного и ухоженного дома Татьяну сильно беспокоила, но не из-за себя, она точно знала, что из гостей уйдет сию же минуту, оставаться здесь и дальше становилось слишком тяжелым и бессмысленным занятием. Фикус Феденька изгонял ее из своих владений, ей становилось нечем дышать, появилось даже ощущение, что будто кто-то невидимый подталкивал ее старательно в спину, словно мощным потоком воздуха гнало ее к выходу.

Молчком одевшись, Татьяна под новогодний бой часов покинула дом. Оглянувшись напоследок у порога, она увидела, как Зина, стоя у фикуса, плакала, а темно-зеленые листья Феденьки очень нежно и участливо обнимали ее за худенькие плечи.

– Наверное, я все-таки с Зиной очень уж неправильно вела себя, – как-то вскользь запоздало подумалось Татьяне. – Я вот сама только лишь прикоснулась к безмолвию собственного одиночества, и то мне в праздник одной дома страшно стало, в люди бежать сразу захотелось, а каково на вкус чужое одиночество, когда, может, и поговорить-то сутками напролет не с кем, кто знает, что у человека тогда внутри происходит, – раскаянно вздохнула Татьяна.

– Да ладно, хватит переживать, у нас в жизни у каждого свой фикус имеется, – строго оборвала она себя, спускаясь в темноту по кривым ступеням крыльца.

Антиутром в антигороде

Это утро началось для меня глубокой ночью. Из красноярского аэропорта позвонил младший сын. Прилетел из Москвы. Хотел устроить мне сюрприз перед Новым годом. А теперь застрял на полпути: не смог снять деньги, банкомат зажевал карту. И наличность почти закончилась – денег уж точно не хватит на два автобусных билета – сначала из Емельяново до автовокзала, а потом до дома. Я расстроилась, потому, как не понимаю – вот в кого такой бестолковый уродился?! Зачем ехать из благополучной Москвы под Новый год в глушь, а антигород, да ещё в самые холода? Уже во времена Герцена все нормальные люди знали, что здешние места – гиблые, коли ссылали сюда по судебным приговорам самых опасных людей – декабристов с уголовниками вкупе. Антигород казаки первоначально основали без малого четыре века назад. Чтобы им скучно не было, их переженили, а в невесты со столиц согнали «гулящих жонок», да и перепроводили в антигород. И после власти тоже не скупились: обе столицы от политических и уголовных элементов планомерно чистили, а «очистки» в антигород отправляли. И из достопримечательностей в антигороде по сей день – пятидесятиградусные морозы, болото и тайга кругом, конечно. С медведями-людоедами, и зеками, бывшими и настоящими.

Первую половину ночи возмущалась – почему человек не понимает, что не за тем я его непомерными усилиями из этого гиблого болота выталкивала, чтобы он вот так запросто назад возвращался. А вторую половину ночи уже сердилась, что теперь его ещё и выручать спешно надо, а потому требуется выслать через банк примерно тысячу. Господи, а у меня за душой только четыреста рублей – оставила крохи, чтобы кое-как дотянуть до пенсии. Но, надо признать, сюрприз удался на славу – если глаз не сомкнула всю ночь, думаючи, где спозаранку искать недостающие денежки. Новый год через два дня, кто даст в долг? К празднику местный народ месяца за два начал готовиться, чтобы хоть как-то новогодний семейный стол достойно обставить. Богачей среди моих знакомых нет. И, как ни крути, ситуация неприятная. На исходе ночи решила: пойду с утра пораньше наугад. Кого встречу, у того и просить буду.

Как решила, так и сделала. Вышла из дому ещё затемно. А на улице – никого. Мороз, туман, и даже собаки не бегают. Дошла до базара. Там в некоторых углах несчастные торгаши на лютом морозе уже шевелиться начали. Присмотрелась. Есть один знакомый – Михаил с Волги, я у него носки из козьей шерсти покупала. Торговалась до одури. Вряд ли он меня смог забыть за два-три месяца, обычно годами помнят. Подхожу, прошу слёзно:

– Михаил, одолжи пятьсот рублей, к вечеру перезайму, отдам.

– Как наторгую. Пока у самого пусто. Подожди маленько, вот покупатель пойдёт, тогда уж точно дам…

Вижу, что помнит, не забыл. И не врёт. Но деньги-то срочно нужны. Наседать бессовестно стала.

– Дорогой, ищи, где хочешь. Выручай. Сын в аэропорту застрял.

Михаил понял с полуслова. Взял у торговых сотоварищей в долг. Минут через пять деньги были уже при мне. Всю дорогу до банка молилась за здоровье его детей.

На улице темень – глаз выколи, а в банке народу – не протолкнуться, наверное, перед праздником платежи по кредитам погасить хотят. Взяла талон на перевод. Делать нечего, придётся выстоять очередь. Присесть некуда, все сидячие места заняты. Вскоре, чувствую, больные ноги уставать стали, и бессонную ночь начала ощущать – разум в кучу собрать не могу. Да ведь и старость – не радость, дня в своей жизни спокойно не прожила, организм изношенный, силам-то неоткуда взяться. Переминаясь с ноги на ногу, слегка пошатываясь, отстояла ещё минут двадцать.

Чтобы отвлечься от мыслей о близком обмороке, стала народ вокруг себя рассматривать. Справа вертлявая дамочка стоит, на боку дыру вертит. Хорошо, что молчит, а то половина мужиков уже бы разбежалась от её глупостей. Слева – мужик с глубокого похмелья, Новый год досрочно отмечать начал, перегар – как химическое оружие, кто в себя вдохнёт, сразу преставится. Прямо передо мной – зек ёрзает, туда-сюда шмыгает. А в перерывах, как и я, людей взвешивает, кто на сколько тянет. Похоже, вышел из тюрьмы недавно, ещё не совсем к воле привык. Не особо серьёзный зек, глубинной крепости духа не видно. Сидел часто, но малые сроки. Ни позвоночника не чувствуется, ни зековского кодекса чести. За ним в очереди – камуфляжный парень набычился. Кредитов пять, сердешный, имеет, судя по бумажным платёжкам в руках.

У банкоматов очередь плотнее, но движется совсем медленно. Служивых людей полно, в милицейской и военной форме. Снимают деньги изредка, всё больше

платежи через банкоматы проводят. Тяжело народ живёт. За свои мечты проценты непомерные платит.

Сбоку у перегородки освободилось место. Быстренько сменила позицию, привалилась спиной на зелёную твердь. От стремительного перемещения закружилась голова. Пальцами обеих рук потёрла лоб, а боковым зрением вижу, что зек глаз с меня не спускает. Скорей бы уж очередь подошла, что ли, – четверых переждать осталось: вертлявую дамочку, зека, похмельного мужика и камуфляжного парня. Смотрю, зек вихлястыми шажками ко мне вознамерился двинуться. Кричать начал, что я до него к контролёру не пройду. Ещё сообразить не успела, чего он хочет, как его руки у себя на глотке почувствовала. Деваться некуда, бороться стала. Ну и орать тоже начала. Контролёрша, престарелая девушка, стыдить взялась возмущённо, что мы перегородку сломаем. Другие люди безмолвствовали. Кое-как зека от себя оторвала, по сторонам огляделась – охраны нигде не видать, наверное, под лавку со страху спрятались, чтобы в историю не вляпаться. Хотя… Сама виновата… нельзя в антигороде слабость свою на людях показывать ни при каких обстоятельствах. Оплошала… Ночь бессонная, видать, сказывается… Зек счастьем у стойки сияет, как же, всеобщего внимания потасовкой достиг, и целых десять тысяч громко на счёт себе положил.

Отправила перевод, все данные на двадцать раз перепроверила, а потом – на улицу – на свежий воздух. Уже рассвело, а воздух-то и впрямь очень свежий – градусов за сорок наверняка. Сначала отдышалась, в себя немного пришла, а потом двинулась вдоль улицы к автобусной остановке, домой надо ехать – в честь дорогого гостя печку пожарче протопить.

Задумавшись, чуть не сбила с ног низкорослую толстую бабу с такой же закутанной толстой собакой. Стоят, обе рот и пасть разинули, глазеют на голого мужика – тот босиком по проезжей части дороги шурует. Нашли чему удивляться. В антигороде и антигерои особенные, как этот, к примеру. Подошвы льдом обжигает, а он и шагу не прибавит. Ногами эдак выпендрёжно шаг печатает, и сразу чувствуется, что не довоевал. Через плечо коричневая занавеска перекинута, как тога у римского сенатора. Живот кровенится свежей ссадиной. Я не в первый раз в антигороде антигероев встречаю, и точно знаю, что этот голый мужик не побежит ни при каких обстоятельствах, даже если мороз за пятьдесят градусов перевалит, а за ним легион врагов будет гнаться. Думаю, что и не чихнёт ни разу после такого моциона, антигероям и на лютом морозе ничего не доспевается… Рядовой случай.

На остановке народу порядком скопилось, в морозную погоду в антигороде автобусы редко ходят. Не то солярка замерзает, не то двери плохо закрываются – оснований всегда много найти можно, если работать не особо охота. А люди… даже причину убийства легко объяснить смогут, им только дозволь…

Вижу, женщина возле топчется, как давешний зек в банке, глаз не спускает. И здесь в покое не оставляют.

– Вы меня помните? – спрашивает.

Лицо, вроде, знакомое, а признать никак не могу. Называет себя. Тогда и я вспомнила – антигородская чиновница. Исхудала, в гроб краше кладут, видать, болезнь крепко прижала, потому и подошла. Раньше и головы в мою сторону не поворачивала.

– Вы знаете, я ведь хотела заступиться за вас в банке, да как-то не успела. Думала, что зек вас зарежет. Вы в милицию заявление уже отнесли? – любопытствует.

Мне смешно стало. Потому как на глазах сочинялась очередная легенда о страшном зековском произволе. Лучше бы о своих «подвигах» рассказала: её-то послужной список покруче будет, чем у давешнего зека, потому как чиновники в моём антигороде над людьми глумятся на высоком профессиональном уровне. Заступиться она за меня хотела. Ага. Как же. Толпа человек в пятьдесят, помнится, в банке находилась, и в милицейской форме мужики были, а все до единого смолчали, как в рот воды набравши. Только посторонились слегка, чтобы им в драке невзначай не прилетело. Ничего отвечать ей не стала, всё равно не поймёт. Как объяснить, что зеку лично я была не нужна, он просто хотел красиво положить деньги на счёт. Долго выбирал самого слабого. А тут я сама подставилась. Но если уж мне придёт охота с кем-нибудь пободаться, сильных ощущений пожелается, в чём очень сомневаюсь, то заявление в милицию подам на трусливых банковских охранников, а не на зека, который сдуру тюремные представления о воле с собой в банк приволок.

Чиновница начала рассказывать о своих болезнях, что мне сразу категорически не понравилось. Отошла в сторонку. В антигороде многим ещё тяжелее живётся, да только они не разбрасывают свои проблемы вдоль и поперёк на всех

встречных и поперечных, молча терпят.

Автобус всё не приходил. Люди перестали ко мне приставать, зато тяжёлые мысли мощными рядами в наступление ринулись. И большинство из них – о зеках, о жизни, об антигороде.. Но думай не думай, а кругом зоны. И зекам после отбывания больших сроков податься зачастую некуда, они в антигороде и оседают. Только на антигород это не особо влияет, потому как он давным-давно живёт не по закону, не по обычаям, не по совести, да и не по понятиям, а по установкам местных чиновников, которые жируют и беспредельничают. И кого чиновники своей постоянной жертвой наметят, того всем кагалом и будут из года в год в болото втаптывать. В антигороде опасаться надо не разовых стычек с зеками, которые по тюрьмам и зонам наскитались, а тех, кто выше закона себя ставит, – непосаженых, потому что безнаказанность всегда рождает вседозволенность. Натерпелась, знаю. И вряд ли когда-нибудь забуду, как чиновники гнобили меня за Литературный институт. Как субсидий лишали несметное количество раз. Как обсчитывали с коммунальными платежами. Как голодала и замерзала. Ну и как напоследок из очереди выкинули на санаторно-курортное лечение.

До того дораздумывалась, что самой противно стало. Были бы крылья, взяла бы и улетела сейчас. Захватила бы сына из аэропорта, ему тоже не сладко – забыть в своей Москве не может, что оставил мать одну в антигороде, вот и потянулась его душа обратно ко мне в гиблое болото.

Забывшись, вдохнула от возмущения холодный воздух всей грудью, и вдруг почувствовала, что силы удесятерились. И крылья будто за спиной выросли. Взмахнула ими раз, другой… А взлететь не могу, вечная мерзлота, видать, не отпускает. Ноги за десятки лет в болото вросли, корни пустили. Ещё разок поднатужилась. Звон послышался. С крыльев осыпь хрустальная посыпалась. Почувствовала, что слишком поздно я за ум взялась. Пропустила время, когда из антигорода улетать надо было. Мечты мохом поросли, позеленели. И всё же… несмотря ни на что… вопреки всему… оторвалась от промёрзлой земли, поднялась над антигородом и полетела. Туда, где солнце. Где тепло. Где ещё можно повстречаться с правдой, законом и справедливостью…

Определилась с направлением. Выбрала скорость. Но решила ненадолго вернуться – сделать напоследок прощальный круг над антигородом, где зря потратила на глупое противоборство десятки лет… И вдруг что-то дрогнуло в душе. Что я делаю? Это ведь мой город! На кого же я его брошу?! Да ведь

и городу без меня совсем одиноко будет…

Сделала ещё круга два над заснеженными улицами. Хотела заплакать, да слезинки на щеках замёрзли, льдинками скатились. Пораздумалась. А после тихо и вежливо попросила себя назад домой воротиться. Потому как пришла пора печку топить… И Михаилу с Волги долг в пятьсот рублей к вечеру отдать надо…

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/osipova_nadezhda/ulybka-volchicy

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить